

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 4

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ БАТАЛИИ

Общая тенденция, проявившаяся на страницах ленинградских журналов, говорила об одном: в городе взяла в свои руки власть и проводила свою политику группа русских коммунистов, для которых национальная идея была не тактическим манёвром и не лозунгом, а смыслом жизни и прямым руководством к действию. Ленинград снова противопоставил себя Москве, но теперь, в отличие от “зиновьевского” 1925 года, с русских национальных позиций.

Адекватно ли оценивали первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии П. Попков, секретарь Ленгорисполкома А. Бубнов, председатель Совета Министров РСФСР М. Родионов, начальник управления кадрами ЦК А. Кузнецов и их сотоварищи сталинский тост в честь русского народа? Во всяком случае, они постарались выжать из сложившейся ситуации всё, что можно. “Ленинградскую политику” они вели, как им, очевидно, казалось, в русле общегосударственной послевоенной политики, подспудно “перетягивая на себя одеяло”: шла активная подготовка по созданию Российской коммунистической партии со своим ЦК и центром в Ленинграде с последующим переводом из Москвы в Ленинград Совета Министров РСФСР, председателем которого должен был стать председатель Госплана и зампред Совмина СССР Н. Вознесенский. Пост первого секретаря ЦК КП РСФСР предназначался Кузнецову, а генерального секретаря – Жданову.

Ленинградская “реставрация” была обречена на поражение, прежде всего, потому, что её творцы не представляли собой спаянную политическую группу и что в политике они не были беспринципными интриганами.

В то же самое время им противостояла именно спаянная группа, возглавляемая такими прожжёнными политиками, как Георгий Маленков, Никита Хрущёв и Лаврентий Берия, составившие проект закрытого письма к членам ЦК:

“Во вражеской группе Кузнецова неоднократно обсуждался и подготавлился вопрос о необходимости создания РКП(б) и ЦК РКП(б), о переносе столицы РСФСР из Москвы в Ленинград. Эти мероприятия Кузнецов и другие мотивировали в своей среде клеветническими доводами, будто бы ЦК ВКП(б) и союзное правительство проводят антирусскую политику и осуществляют протекционизм в отношении других национальных республик за счёт русского народа. В группе было предусмотрено, что в случае осуществления их планов Кузнецов А. должен был занять пост первого секретаря ЦК РКП(б)...”

Сталину ясно дали понять, что его креатура во внутренней политике в лице “ленинградской группы” на самом деле состоит из “великорусских шовинистов”, чья дальнейшая деятельность грозит развалом Советскому Союзу. Мнимая опасность была ещё и преувеличена во много раз.

Почему мнимая? Потому, что в состоянии того идейного и бытийного монолита, в котором находилась страна после Великой Отечественной войны, плавная переориентация на закрепление дополнительных экономических и политических прав Российской Федерации и, конкретно, русского народа никаким развалом государству не грозила. Это не конец 1980-х годов, когда заевшаяся национальная партийная “элита” окраин во всё горло требовала “независимости”. В конце 1940-х подобное никому в голову бы не пришло.

Какова же была позиция самого Жданова? Он, возможно, был не прочь воспользоваться таким прекрасным рычагом для создания “параллельного центра”. Другое дело, что он не столько проводил собственную политическую линию, сколько подлаживался к Сталину, и это “подлаживание”, в конце концов, кончилось трагически и для него самого, и для его соратников.

Выслушав всё, что положено, о “распушенности” ленинградских партийных кадров, Жданов стал действовать по принципу “спасайся, кто может”. Прежде всего, выигрывая время и отводя основной удар от себя и остальных “ленинградцев”, он собственными руками выбил из-под ног возможных членов ЦК компартии России всю идейную основу, которая обкатывалась на страницах ленинградских журналов. А 31 августа 1948 года его не стало.

Документы из Архива президента РФ, бывшего КГБ СССР и РЦХИДНИ, посвящённые этому сюжету, однозначно показывают: “лечение” Жданова от поразившего его сердечного приступа нельзя назвать даже халтурным – так со своим пациентом не обходится начинающий терапевт. Когда заведующая кабинетом электрокардиографии Лидия Тимашук (которую позже возвели в “национальные героини”, а при кратковременном фактическом царствии Берии предали публичному позору) констатировала инфаркт миокарда, остальные врачи настояли, чтобы она переписала своё заключение в соответствии с ранее показанным диагнозом: “функциональное расстройство на почве склероза и гипертонической болезни”. Всё остальное было делом техники.

После кончины Жданова была открыта прямая дорога к истреблению ждановской креатуры и всех, кто какое-либо отношение имел к работе в партийных структурах Ленинграда. Предлог, как в истории с журналами, был найден, не имеющий никакого отношения к существу дела: проведение в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарки, решение о которой было принято на заседании Совета Министров СССР 11 ноября 1948 года под председательством Маленкова. Ленинградцев (конкретно и целенаправленно – Вознесенского) обвинили в том, что ленинградское руководство, якобы ни с кем ничего не согласовав, не распродав товары, скопившиеся на складах и свезённые на ярмарку, допустило их порчу и нанесло ущерб государству в четыре миллиарда рублей. Это была прямая ложь. В действительности, в Ленинград были свезены образцы товаров, на продажу которых были заключены необходимые договора. И об этой ярмарке регулярно сообщала “Ленинградская правда”.

15 февраля 1949 года на заседании Политбюро было принято постановление об “антипартийных действиях” Кузнецова, Родионова и Попкова. А 21 февраля в Ленинграде появился Маленков, который истерически орал на ленинградских коммунистов и в запале выкрикнул: “Свиля антипартийное гнездо! Создали миф об особой, “блокадной” судьбе Ленинграда! Готовили – на случай приезда великого Сталина – террористический акт!” Проигрывался прежний сценарий, напоминавший сценарий “кировских” времён, но теперь тот “огород” городить было ни к чему. Главный покровитель “антипартийного гнезда” был мёртв, а ленинградские национал-большевики (уже в большей степени стоявшие именно на национальных позициях) были обречены.

Часто говорят и пишут о двадцати шести расстрелянных по этому “делу” (речь о верхушке ленинградской партийной организации) после того, как в судопроизводство по предложению Маленкова и Берии Сталин вернул смертную казнь, отменённую в 1946 году. На самом деле большинство людей смутно представляет себе последствия происшедшего. В Ленинграде были исключены из ВКП(б) и лишены работы более 2000 человек. А по всей стране – в Новгородской, Ярославской, Мурманской, Саратовской, Рязанской,

Калужской, Горьковской, Псковской, Владимирской, Тульской, Калининградской областях, в Крыму, на Украине, в среднеазиатских республиках было репрессировано (без учёта просто лишившихся работы и выброшенных на улицу без выходного пособия) 32 000 партийных, государственных, хозяйственных руководителей. В это число входили и люди, никакого отношения к ленинградской партийной организации не имевшие — их единственная “вина” заключалась в том, что они были русские и занимали при этом более или менее ответственные посты. В 1950 году был негласный приказ — увольнять руководящих работников русской национальности.

Сталин, наблюдая массовую истерию советских евреев (включая жён своих ближайших соратников, членов правительства), вызванную созданием государства Израиль, расправившись с возможными руководителями еврейского национального движения, был многократно более встревожен зачатками ещё толком не оформившегося русского национального движения внутри партии.

Голда Меерсон, израильский посланник в СССР, позднее вспоминала: “Евреи Москвы выразили своё глубокое стремление — свою потребность — участвовать в чуде создания еврейского государства”, — она же специально отметила фразу, услышанную от Полины Жемчужиной, жены Вячеслава Молотова, на идиш: “Я дочь еврейского народа”. С особенными эмоциями она вспоминала московских евреев, устроивших ей фантастический приём в синагоге и после неё: “Глядя на них, я понимала, что никакие самые страшные угрозы не помешают восторженным людям, которые в этот день были в синагоге, объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. . . Такой океан любви обрушился на меня, что мне стало трудно дышать; думаю, что я была на грани обморока. . . Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмотря на запрет евреям ездить по субботам и праздникам, кто-то толкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с места — его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они простили мне нежелание ехать в Москву, недооценку силы наших связей. . . Но я не могла найти слов. Только и сумела я пробормотать не своим голосом одну фразу на идиш: “А данк айх во сир зайт геблибен иден!” (“Спасибо вам, что вы остались евреями!”) И я услышала, как эту жалкую, не подходящую к случаю фразу передают и повторяют в толпе, словно чудесное пророчество. . . Не могу сказать, что тогда я почувствовала уверенность, что через двадцать лет я увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла одно: Советскому Союзу не удалось сломить их дух; тут Россия со всем своим могуществом потерпела поражение. Евреи остались евреями”.

Внушительное количество евреев (и не только в столице), в самом деле, воспринимали обретение своего еврейского “я” именно как “поражение России”. И Сталин это прекрасно понял. Ситуация, особенно в контексте претензий членов Еврейского антифашистского комитета на “очищенный” от крымских татар Крым как на “еврейский заповедник” и в контексте рухнувших иллюзий в отношении Израйла как надёжного союзника СССР, воспринималась как угрожающая. В ответ на демонстрацию “еврейского духа” последовали демонстративные, ни от кого не скрывааемые административные и репрессивные действия со стороны власти. Но в случае с “ленинградским делом” всё было совершенно иначе.

Эта акция, в отличие от “борьбы с космополитизмом” и “антиеврейских чисток”, прошла в полной тайне. Даже Павел Судоплатов писал в своих воспоминаниях через много лет (не доверять ему нет никаких оснований): “В 1949 году мы не знали об ужасающих обвинениях против них (ленинградских партийных деятелей. — С. К.) . . . Конкретные подробности “ленинградского дела” оставались тайной для партийного актива. . . “Ленинградское дело” оставалось тайной и после смерти Сталина, и даже я, хоть и был начальником самостоятельной службы МГБ, не знал о судьбе тех, кто погиб в безвестности”.

Остаётся добавить к сказанному, что после смерти Сталина сначала Маленков, а затем Хрущёв (перед реабилитацией погибших) уничтожили все документальные следы своей причастности к этой расправе. Более того, и поныне часть документов, касающихся этого, остаётся недоступной для исследователей. Не потому ли, что их содержание слишком обжигающе современно и по сей день?

И ещё одно. Чем больше мы всё же узнаём о подоплёке этого “дела”, тем больше приходим к мысли: переиграй тогда “русская партия” ленинградцев

связку Берия–Маленков – наша отечественная история пошла бы по совершенно другому пути. Не было бы ни истерического доклада Хрущёва на XX съезде (реабилитация, безусловно, была бы, но в соответствии с законом и детальным рассмотрением всех обстоятельств рассматриваемых “дел”), ни экономического маразма 1960-х – 1970-х годов, ни, естественно, какой-либо “перестройки” в горбачёвском исполнении, ни распада СССР (другое дело, что в новую Конституцию государства могли быть заложены иные принципы его дальнейшего существования). Много чего не было бы и много что могло бы быть... Но... Тут мы вступаем в область так называемой “альтернативной истории”, которую органически не воспринимал Вадим Валерианович.

* * *

Может показаться, что мы отступили от нашей темы. На самом деле история трагически погибших ленинградцев имеет к ней самое прямое отношение.

В последнее время тот там, то здесь появляются на свет Божий мемуарные книги или псевдонаучные труды о так называемой “русской партии внутри КПСС”, которая якобы очень основательно покровительствовала “новым славянофилам” – среди них называется и Вадим Кожинов. Надо сказать со всей определённо: подобной “партии” в 1950–1980-е годы не было и не могло быть в природе. То, что партийный аппарат знал о “ленинградском деле”, точнее, об уничтожении собственно “русской партии внутри ВКП(б)” в 1950 году, начисто исключало какие-либо поползновения в эту сторону. Отдельные люди в высшем эшелоне власти, даже сочувствующие “русскому движению”, связанные партийной дисциплиной и “каноном интернационалиста”, не могли – да и не пытались – предпринять в этом направлении никаких существенных действий. Жизнь “русского движения” на культурном фронте развивалась в совершенно иной атмосфере, по своим внутренним законам. Но об этом – разговор впереди.

...А сейчас вернёмся в университетские аудитории конца 1940-х годов.

Кампания против “космополитов”, достигшая своего пика в январе-феврале 1949 года, стала сворачиваться к концу марта. В это же время главный реактор “Правды” П. Поспелов получил соответствующее указание от Сталина: “Не надо делать из космополитов явление. Не следует сильно расширять круг. Нужно воевать не с людьми, а с идеями”. Самые ретивые участники кампании лишали своих постов так же, как и недавно преследуемые ими, в частности заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Ф. Головенченко и редактор газеты “Советское искусство” В. Вдовиченко, ибо сплошь и рядом война с идеями перерастала в войну с людьми.

И удивительного в этом ничего нет. Конечно, сразу “обозначилась” масса карьеристов, готовых любыми средствами “избавиться от конкурента”. Но во многих случаях причины этой “войны” были гораздо глубже.

В конце 1980-х годов, вспоминая это время, Вадим Валерианович объяснял себе (и читателям) происходившее следующим образом: “Так, в собраниях, посвящённых разоблачению “космополитов”, нередко принимали участие и, в сущности, вполне достойные люди... ибо на них оказывалось тяжкое давление. Вопрос стоял так: или выступить, или быть изгнанным самому, “уступив” своё место готовым на всё карьеристам. А “обвиняемого” обязательно изгонят”.

Кожинов здесь, скорее всего, невольно, упростил ситуацию. Давление, безусловно, оказывалось. Но, помимо “давления”, было ещё и неугасшее за десятилетия искреннее желание посчитаться, ибо многие из “космополитов” конца 1940-х (как мы имели возможность наблюдать) в своё время (в 1920–1930-е годы) принимали активнейшее участие в погроме русской культуры и современных им русских писателей. И этого никто не забыл. Так же, как никто не забыл ни в 1930-е, ни в 1940-е тяжкого урона, который был причинён им самим, близким или друзьям в годы гражданской войны или коллективизации.

Об этом старались не говорить ни в то время, ни, тем более, в последующие годы, когда проще всего всё происшедшее можно было легко списать на иррациональный “антисемитизм” или сугубо рациональный карьеризм.

В этом отношении показательна фигура заведующего в те годы кафедрой зарубежной литературы филологического факультета МГУ Романа Михайловича Самарина. Во многих мемуарных книгах, изданных через много лет, он предстал как вопиющий держиморда и антисемит. Утверждалось даже, что он “уволил из университета всех профессоров еврейского происхождения” (волей-неволей возникает вопрос: хоть кто-то из них остался в целом-то университете?). “Уволить” своей административной властью он реально не мог никого, не будучи не только ректором МГУ, но даже деканом филологического факультета. Другое дело — составить на кого-либо соответствующую “справку”, которую ещё должно было разобрать высшее начальство, как это было в Институте мировой литературы в случаях с учёными А. И. Старцевым и Л. Е. Пинским... Человек был весьма незаурядный и многое понимающий в том времени, в котором жил. Так, он в 1951-м фактически “зарубил” в Институте мировой литературы присуждение Михаилу Бахтину учёной степени доктора филологических наук после защиты его диссертации о творчестве Франсуа Рабле. А Бахтин и через много лет не держал на него зла, ибо понимал: в ситуации мощнейшего “наката” на Институт демонстративное присвоение степени бывшему ссыльному грозит весьма тяжкими последствиями. “Самарин, фактически, спас меня”, — говорил он... И тот же Самарин, писавший всю жизнь стихи, в начале 1960-х годов, в период катастрофического (как тогда казалось) обострения отношений с Китаем, написал стихотворение о “Богем посланной коннице”: “Ты, вырубленное начисто... донское русское казачество...”, о котором останется лишь вспомнить “при встрече с братом желтолицым”... Судя по всему, память об этой трагедии и эта боль жили в душе Самарина до гробовой доски. И лишь Бог ведает, что он знал о тех “профессорах еврейского происхождения”, что окружали его на факультете.

Самая громкая история, разыгравшаяся на филфаке в те годы, — история, связанная с увольнением доцента Абрама Александровича Белкина, одного из самых любимых преподавателей Вадима Кожинова. Надо сказать, что Кожинов, после всех нелёгких перипетий, связанных с поступлением, был одним из лучших студентов на факультете. Его зачётная книжка — это книжка круглого отличника как по всем общим предметам лекционного курса, так и по курсам специальным, как то: основы сталинского учения о языке, творчество Маяковского, историческая диалектология, литовский язык (! — это кроме общих английского и немецкого. — С. К.), теория фонетики. А по окончании шестого семестра, ставя отличную оценку на экзамене по русской литературе 3-й трети XIX века, Белкин не выдержал и поставил рядом с “пятёркой” восклицательный знак — настолько был поражен и восхищен как познаниями своего студента, так и умением изложить изученный материал.

И вот, на четвёртом кожиновском курсе, ещё при жизни вождя мирового коммунистического движения, Белкина как “космополита” увольняют с занимаемой должности и изгоняют из университета.

Ну, и какое отношение имел к его изгнанию Самарин? Кто, в конце концов, конкретно осуществлял эту акцию? Кожинов позже свидетельствовал, что на общем собрании против Белкина выступал заслуженный и всеми уважаемый Николай Калинин Гудзий. Что он имел против своего коллеги? И насколько прав был Вадим Валерианович, утверждавший, что Гудзий всего лишь поддался “давлению”?

Эти вопросы мы пока оставляем без ответа за неимением его. А вот что касается участия “активных студентов” — тогдашней “лёгкой кавалерии” — тут у нас информация более точная.

Тот же Гудзий был в ужасе от ретивых наскоков этой “кавалерии”. Учившийся в те же годы на филфаке Олег Михайлов вспоминал, как вели себя в тогдашней ситуации будущие “свободомыслящие” — Юрий Юриков, Александр Лебедев, Владимир Лакшин и тот же Игорь Виноградов. Старых преподавателей трясло от “общественного напора” этих молодых волчат, готовых рвать на куски “чуждый элемент” не столько даже из “карьерных”, сколько из абсолютно идейных соображений. “Узнав, что я приятельствую с одним из них, мой добрый учитель Н. К. Гудзий, — вспоминал Михайлов, — даже выронил портфель, такая его взяла оторопь: “Это же страшный человек”. Уже прожившие жизнь бывшие выпускники хранили в памяти страницу общефакультетской газеты “Комсомолия” с широченной шапкой “О чём думает доцент Белкин?”. Далее следовал совершенно погромный текст за подписью Александра Лебедева.

В процессе “изгона” Белкина из МГУ уже на собственно литературной “полюне” разыгрывалось ещё одно захватывающее действо: как раз на фоне подобных “кампаний” (одна из них проходила в Литературном институте им. М. Горького) состоялся литературный дебют восходящей “звезды” новой советской прозы – Юрия Трифонова. Журнал “Новый мир” (главный редактор – недавно заступивший в эту должность Александр Твардовский) опубликовал повесть “Студенты”, которая тут же вышла отдельным изданием и не раз переиздавалась на протяжении последующих 10 лет.

О, это было внушительное “подкрепление” молодым погромщикам, когда стало возможным оперировать не только сухими идеологическими клише, но и ссылаться на художественное произведение как на безусловный аргумент в своей праведной борьбе с враждебными силами. Ведь главный герой этой повести – ничем не примечательный, не отмеченный никакими выдающимися способностями студент Вадим Белов – предпринимает поистине “героические” усилия, дабы избавить высшее учебное заведение от отличающегося “колоссальной своей памятью и многознанием” профессора Козельского. Он организует самую настоящую травлю профессора, которую автор повести представлял как поистине титаническое, связанное с немалыми опасностями действие... Борьба с “низкопоклонством” профессора в этой повести – не заурядная интрига. Это, своего рода, достигнутое немалым трудом “торжество справедливости”. Особенно показательно, что герой действует по личной инициативе, в то время как большинство студентов, участвовавших в подобных “кампаниях”, лишь выполняли волю тех или иных преподавателей. И конечно, не мог не привлечь внимания точно и узнаваемо воплощённый образ Козельского. Кожинов много позже напишет, что “вся история жизни этого профессора, его научные методы и интересы, даже внешний облик неизбежно заставляют вспомнить таких известных литературоведов, как В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, И. Н. Розанов, Б. В. Томашевский, В. Ф. Шишмарёв и т. п., которые на рубеже 1940–1950-х годов подвергались таким же нападкам, что и Козельский”.

“Из нашего института (имелся в виду Литературный институт. – С. К.), – говорил Юрий Трифонов на диспуте, посвящённом его повести в МГПИ им. Ленина, – были изгнаны несколько профессоров за проповедь формализма и космополитизма. Они во многом послужили мне основой для создания образа Козельского”.

Стенограмма этого диспута, как и повесть, была опубликована в “Новом мире”, – такое существенное значение ей придавалось в то время. Поистине, в руках у “воинов” молодого поколения появилось “новое и грозное оружие”... Восторженные рецензии, написанные Владимиром Бушиным, Петром Пустовойтом, Александром Марьямовым, Борисом Рюриковым (отцом Юрия), Львом Якименко, Борисом Галановым (Галантером), печатались в “Московском комсомольце”, “Комсомольской правде”, “Литературной газете”, “Правде”, в журнале “Знамя”... Интересный, однако, факт: самые добрые слова об этом трифоновском сочинении успела сказать (уже, кстати, после XX съезда КПСС) неистовая “антисталинистка” Лидия Чуковская в статье с не терпящим сомнений заголовком “Убедительность словесного искусства”.

Само собой разумеется, Юрий Трифонов получил Сталинскую премию второй степени.

Кожинов, естественно, эту повесть читал. И читал с явным отвращением. Финальная сцена со Сталиным на трибуне Мавзолея при всём “надмирном” тогдашнем отношении Кожинова к Сталину говорила ему не о чём-нибудь, а о заурядном приспособленчестве автора. Тем более что изгоняемого из МГУ Белкина тут же прозвали “Козельским”, а самого Вадима, ядовито подшучивая, спрашивали – не в его ли честь Трифонов назвал своего героя... Кожинов, к этому времени проникшийся общей идейной атмосферой, вступил в комсомол, был активным общественником, более того, старостой курса. И он же составил “адрес” с самыми восторженными словами в адрес преподавателя, который подписало большинство студентов курса, и торжественно вручил его Белкину после лекции. Всерьёз ли Вадим думал подобной акцией воспрепятствовать увольнению? Может быть, надеялся на то, что этот жест заставит в той или иной мере пересмотреть уже принятое решение?

Но заместитель декана филфака Михаил Никитич Зозуля (которого я ещё застал в этой должности) и не думал ничего пересматривать. Он вызвал к себе

дерзкого “старосту” с единственной целью: выяснить, как зловредный Белкин подготовил сей “адрес” и соблазнил студентов на публичную “демонстрацию”... Кожинов после разговора с Зозулей окончательно вышел из себя и организовал целую делегацию “протеста” (помогала ему в этом Зоя Финицкая), которая в составе более двух десятков человек отправилась к секретарю партийного бюро Николаевой.

Результат был вполне предсказуем. Поход этой делегации был опять же квалифицирован, как “происки Белкина”, после чего увольнение доцента было делом не просто решённым – оно произошло практически мгновенно. Кожинову же было совершенно ясно (и беседа с Зозулей это лишь подтвердила): никакой так называемый “государственный антисемитизм” не имеет к этой истории (и ко многим подобным) никакого отношения – всё решают обстоятельства чисто личного характера. В воздухе была разлита атмосфера, в которой очень многие соблазнились “ловить рыбу в мутной воде”, сплошь и рядом перебарщивая, перегибая палку, сами лишаясь постов, работы или, если повезёт, двигаясь по карьерной лестнице вверх... Атмосфера так и не затихшей, латентно текущей и иногда вспыхивающей гражданской войны.

... В то же время, что и Трифонов, был удостоен Сталинской премии ещё один литературный выдвиженец – Анатолий Рыбаков (Аронов) – за повесть “Водители”... Намечалось вручение следующей высшей награды по литературе – кандидатами на неё считались Ефим Пермитин с романом “Горные орлы” и быстро и совершенно забытый Михаил Тевелёв с книгой “Свет ты наш, Верховина”. И о том, и о другом сочинении печатала восторженные статьи в журнале “Знамя” и альманахе “Дружба народов” набиравший силу критик Екатерина Старикова.

А на горизонте уже мелькало новое поэтическое имя – в свет вышла первая книжка двадцатилетнего Евгения Евтушенко “Разведчики грядущего” с поистине вдохновенными стихами:

*Я верю: здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом.
Ведь об этом мечтаем и я, и ты,
значит, думает Сталин об этом!*

*Я знаю: грядущее видя вокруг,
склоняется этой ночью
самый мой лучший на свете друг
в Кремле над столом рабочим...*

Эта книжка, вся состоящая из подобных стихотворений с нежной интимной интонацией, тут же стала пропуском для молодого дарования в Союз писателей СССР.

* * *

Вся эта литературная продукция, естественно, находилась в поле зрения студентов филфака МГУ и далеко не всеми из них оценивалось восторженно – в унисон с “критическими” заглёбывающимися от восхищения отзывами. Вадим включился в одно из таких обсуждений – написал отзыв в жанре “заметок читателя” о ещё одном Сталинском лауреате – Галине Николаевой (Волянской). Конкретно – о её романе “Жатва”, уже переведённом на многие языки.

Герой этого романа Василий Бортников, выводящий отстающий колхоз в передовые, был на устах у критиков, разобрался и превозносился на читательских конференциях... Чего на самом деле стоил этот типичный для того времени “лакировочный” роман, Кожинов и показал в своих “заметках”.

Начал он с ритуального поклона: “... Действительно: общие художественные достоинства романа бесспорны и велики...” И сразу перешёл к конкретному разбору, напомнив формулировку Маркса о реализме, который подражает, кроме “типических характеров в типических обстоятельствах”, ещё и “правдивость деталей”. Так и назвал статью – сугубо нейтрально: “О правдивости деталей”.

Дотошность изложения и подробность собранного материала может поразить и в наши дни. Вадим подошёл к роману суперпрофессионально и архидобросовестно.

“... На глазах читателя строится и вводится в эксплуатацию новая, укрупнённая МТС, а “маленькая” Крутогорская МТС ликвидируется. Ликвидация остальных четырёх “маленьких” МТС хотя и не показана, но по всему видно, что они также ликвидированы и район обслуживается одной новой МТС... Не станем спорить по поводу целесообразности сосредоточения в одной МТС 150 тракторов, которые, по мысли Андрея Стрельцова (ещё одного героя романа. — С. К.), должны обеспечить образцовое обслуживание всех нужд колхозов района. Заметим лишь, что в пяти “маленьких” — количество тракторов не могло быть меньшим, ибо 30 тракторов — это минимум для действующей МТС!

Какими же тогда организационно-хозяйственными и политическими соображениями можно оправдать предлагаемую писателем огромную и дорогостоящую ломку десятилетиями слагавшейся сети МТС: ликвидацию “маленьких” и строительство новых, укрупнённых МТС общерайонного масштаба?

Ответа в романе нет. И это не случайно. Писательнице нечего ответить, ибо выдвинутая ею “проблема” не опирается на жизнь, не подсказана теорией и практикой...”

Обратим внимание на слово “ломка”. Как видно, в юном возрасте Вадиму уже претило это “понятие”. Через несколько десятилетий он выскажет своё принципиальное несогласие с другой “ломкой” — уже в общегосударственном масштабе, опираясь на богатый и скрупулёзно подобранный исторический материал.

А тогда он уличал Николаеву в элементарном незнании того, о чём она пишет: “Не зная операции, которую взялся описывать, автор явно дискредитирует своих героев. А ведь достаточно было провести один час на льнопункте, чтобы избежать подобных “вольностей”...” “Антагонизм между старообрядцами и церковниками общеизвестен. И ясно, что Кузьма Бортников, как кержак-старообрядец, не только не мог звать священника-церковника для соборования, но не принял бы его, если бы даже это ему навязывали...” Он обращал внимание читателя на абсолютную бездушность и жестокость “положительного”, по мысли автора, героя: “Нельзя же поверить, чтобы В. Бортников, желая всегда и во всём быть примером для других, заставил детей и женщин выполнять лошадиную работу, а сам в это время прогуливался на коне. Так разрушается автором честный характер В. Бортникова!” Он, наконец, писал об элементарном незнании автором самой жизни, которую Николаева, похоже, наблюдала лишь из окна персонального автомобиля: “Писательница повествует: “Девчата все, как одна, в новых туфлях и шёлковых чулках, танцевали... замужние женщины чинно сидели на скамьях, грызли калёные орехи и семечки”...” Прочитав всё это, Вадим не мог скрыть своего негодования: “Это в начале октября 1947 года, после ряда неблагоприятных лет, особенно неурожайного 1946 года, не обеспечивших колхозников ни хлебом, ни кормом для скота, когда колхозники едва получили продукцию на трудодни из нового урожая и не успели ещё её реализовать, когда приобретение новых туфель и шёлковых чулок было нелёгким делом даже в городе; орехи же, кстати сказать, в данном районе вовсе не роятся, привозятся издалека и продаются на рынках по дорогой цене...”

Мало кто из критиков мог с такой тщательностью провести работу по ознакомлению со всеми жизненными реалиями, отображёнными в романе, чтобы иметь право основательно и безоговорочно показать подлинную цену сего “соцреалистического” полотна... Особенно, на мой взгляд, важно отметить следующее: этот скрупулёзный анализ, пронизанный точным знанием предмета и явным сопереживанием судьбе доведённых до нищеты колхозников, принадлежит “дитю старого Арбата”, потомственному горожанину, выходцу из интеллигентной семьи. Об отношении к деревенским жителям в то время свидетельствовал Анатолий Ланщиков: “Помнится, в довоенном детстве в нас вызывало умиление любое изображение негра, а книга “Хижина дяди Тома” была почти что самым популярным произведением для детей. Однако мы, воспитываемые в духе интернационализма и классовой солидарности, почему-то не без снисхождения относились к своим деревенским соотечественникам. Во всяком случае, слово “деревенский” всегда заключало какой-то негативный и даже оскорбительный смысл. Когда же говорилось об отсталости

деревни, то почему-то всегда называлась или подразумевалась именно русская деревня. И это вбивалось в детские головы каким-то “подпольным” образом и оседало в них если не навсегда, то надолго, причудливым образом уживаясь с государственным знаком, на равных правах соединяющим серп и молот”.

Этот взгляд на русскую деревню во многом переломила Великая Отечественная. Кожинов вспоминал, как слушалось, читалось, воспринималось в годы войны ставшее хрестоматийным стихотворение Константина Симонова, единственное великое произведение, созданное многократным Сталинским лауреатом.

*Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.*

*Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.*

*Ты знаешь, наверное, всё-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил...*

Но окончилась война — и из разорённой деревни стали выкачивать в виде дополнительных налогов всё, что было можно, да и чего уже нельзя — тоже... Другое дело, что Кожинов через много лет несколько иначе оценил происходившее в 1940-е годы. В 1998 году в одной из многочисленных бесед, которые он тогда вёл с корреспондентами различных изданий, специально остановился на этом вопросе: “Я как-то читал небольшое сочинение Солженицына. Он там страшно возмущается, что вот какие эти кремлёвские правители негодяи: в 46-м году — он установил по документам — крестьянам, колхозникам выдавалось в среднем 200 граммов хлеба в день. При этом совершенно не учитывается тот факт, что в результате войны и разрушения всего сельского хозяйства, гибели огромного количества мужчин, именно деревенских, потому что рабочим давали бронь, а их всех посылали на войну, и, наконец, из-за страшной засухи 46-го года урожай был таков, что на душу населения приходилось в целом всего 600 граммов зерна! Горожанам давали минимум 400 граммов, но это было правильным, потому что у крестьян всё-таки была какая-то возможность подкормиться — ну, хоть грибами и ягодами. То есть это совершенно правильно: 400 граммов — горожанам, 200 — крестьянам. Но это было и всё, что имела страна!”

Тут к месту вспомнить его юношеское возмущение тем, что целые вагоны продовольствия отправлялись в побеждённую Германию... Многие пересматривал Вадим Валерианович на протяжении своей жизни!

Но так или иначе, прежнее пренебрежительное отношение к “дерёвне” у городских возобновилось и сохранилось ещё на десятилетия... Лишь в начале 1960-х на почву, породившую и вскормившую весь русский материальный и духовный мир, на то, что происходит с ней, начнут смотреть иначе. И этот взгляд сформирует то направление в русской литературе, что получит пренебрежительный ярлык: “деревенская проза”.

... Остаётся добавить, что кожиновские заметки о романе Николаевой были опубликованы в 1952 году в журнале “Октябрь” под псевдонимом “В. Родин”. Это был его печатный дебют, состоявшийся благодаря главному редактору журнала — Фёдору Панфёрову.

* * *

Молодость всегда берёт своё — она брала своё и на факультетских бдениях. О поистине весёлой студенческой жизни вспоминал сокурсник Кожинова и близкий (тогда!) его сотоварищ Станислав Лесневский:

“В студенческие времена Вадим прекрасно читал стихи Маяковского, которого мы любили. Вадим научил меня воспринимать и читать стихи, открывая в них побеждающую музыкальную волну. Я понял, что это и есть смысл поэзии... Однажды вузком комсомола отправил нас на автозавод читать в цехе лекцию о Маяковском. Стоя посреди станков и машин во время обеденного перерыва, Вадим буквально заворожил рабочих: казалось, он раскачивает колокол. Нас наградили большим тортом, который мы радостно проглотили на обратном пути прямо в троллейбусе.

Мальчишество соседствовало в нас с самыми серьёзными идеалами, разумеется, в романтическом духе, воспитанными эпохой. В ту пору в народе любили и жалели студентов. По студенческим билетам, с десяткой в кармане, мы совершили первое своё путешествие по России, побывали в Ярославле, в Костроме, в Плесе. В город Фурманов мы привезли весть о кончине Георгия Димитрова и добились, чтобы по этому поводу были вывешены флаги с траурной лентой.

В Ленинграде мы поспешили увидеть Смольный, крейсер “Аврора” и памятник Ленину у Финляндского вокзала. Но, конечно, классические черты града Питера захватили нас. (Кожин потом вспоминал, что, стоя на Сенатской площади у “Медного всадника”, он не столько рассматривал сам памятник, сколько пытался сравнить мраморного Петра с всплывающими в памяти его живописными изображениями. — С. К.) Вадим уже тогда великолепно знал историю и архитектуру, мог часами рассказывать об улицах и домах — и в Ленинграде, и в Москве...

Своеобразное озорство, “авантюрная жилка”, натура поэта и артиста — и вместе с тем блестящая образованность, удивительная память, учёность, не становившаяся важностью, а соединявшаяся с крылатостью, естественное умение дружить, распахнутость, внезапность, импровизационность и... серьёзность, обдуманность — обаяние Кожина покоряло всех.

Прибавьте к этому гитару в руках Вадима, чей репертуар был неистощим. Звон струны слышен, кажется, во всём облике и во всём творчестве Вадима Кожина”.

Сам же Вадим в это время круто меняет свою личную жизнь. Он женится на студентке юридического факультета Людмиле Рускол, фактически против воли родителей. Дошло до того, что мать спрятала Вадимов паспорт, чтобы дело не дошло до официального брака, но Вадим его попросту выкрал. Понятно, что после этого ни о какой совместной жизни под одной крышей двух семей было невозможно говорить. Молодые супруги перебрались в студенческое общежитие, где и делили все трудности общежитийского бытия с остальными студентами, весьма и весьма плохонько одевавшимися и обедавшими чёрным хлебом с горчицей или сахаром и жиденьким чаем.

Кожин через много лет вспоминал одну из ярких сцен, связанных с его невестой: она во время прогулки сказала, что ей нужно забежать на свой факультет, ибо необходимо о чём-то договориться с сокурсником Аркадием Ваксбергом (будущим известным публицистом). “Но разговор не получился, ибо, как оказалось, на факультете только что закончилась лекция самого А. Я. Вышинского. Когда мы вошли, он спускался по лестнице, вдоль которой выстроились восторженные слушатели, стремясь поближе взглянуть на легендарного человека. Среди них стоял с сияющим лицом и Ваксберг, который просто не смог говорить с Рускол из-за владевшего им восторга. Он только непонимающе улыбался, и меня крайне удивил столь беспредельный культ Вышинского...”

Уж что-что, а прививку от всяких “культов” Вадим получил достаточно рано. Тем более, что его молодая любознательность не имела пределов. В начале 1950-х годов он с увлечением слушал по радиоприёмнику “Голос Америки”, откуда и узнал о начале войны в Корее... И это прослушивание нисколько не мешало восторженному изучению Маяковского, а также не внушало ни малейшей симпатии к капитализму в каких бы то ни было его проявлениях. Более того, неприятие любого “культа” органически сочеталось со всё увеличивающейся внутренней “революционностью”, которая сама по себе отталкивала любое проявление бытовой и политической “старорежимности”.

“...”Комсомольский энтузиазм”, — писал Вадим Валерианович, — владел в то время и такими молодыми людьми, позднейшая жизнь и деятельность которых шла в совсем ином русле. Так, ныне даже нелегко поверить,

что литературовед Сергей Бочаров и культуролог Георгий Гачев в конце 1940 – начале 1950-х годов входили в руководство факультетской организации ВЛКСМ... И, между прочим (вопреки господствующим теперешним представлениям о том времени), комсомольской карьере Гачева не помешало ни то, что его отец был репрессирован в 1938 году, ни то, что его мать – еврейка; осенью 1949 года Гачев стал секретарём организации ВЛКСМ III курса факультета, в которой насчитывалось 300 комсомольцев...”

(Кстати сказать, Людмила Рускол была чистокровной еврейкой из семьи, где среди ближайших родственников не было ни одного “инородца”. Но для Вадима это не имело никакого значения ни тогда, ни после.)

Весьма занятно проявилась неприязнь Кожиновым “культы личности” при обсуждении “классической” работы Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”, направленной против Н. Я. Марра и его теории стадильности развития языка и его основного положения, что, дескать, “язык есть надстройка над базисом”. А Марр с его учением, надо сказать, был в то время абсолютным монополистом в языковедческой области.

Кожинов, слушавший в МГУ лекции выдающегося филолога Виктора Владимировича Виноградова, в принципе отрицавшего марровскую теорию (и, кстати, говоря, готовившего предварительные материалы для сталинского сочинения), не без волнения читал пассажи весьма любопытной работы вождя, в частности, о том, что в лингвистике “господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики... преследовались и пресекались... Снимались с должностей или снижались по должности ценные работники и исследователи... Общеизвестно, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общеизвестное правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом. Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая... стала самовольничать и бесчинствовать... аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безответственность...”

Сейчас ничего не стоит обратиться эти гневные слова по адресу их автора. Но тогда борьба с “аракчеевским режимом” в языковедении была воспринята, что называется, на голубом глазу... Вадим по “литературным дискуссиям” в “Литературной газете”, да и на самом факультете наблюдал сей “аракчеевский режим” в действии, тем более, в исполнении своих же конкурсов...

И вот на филфаке, уже в год защиты Кожиновым диплома, состоялось обсуждение сталинского труда. “Как учил товарищ Сталин”, никто никому не зажимал рта, свобода обсуждения была, невиданная доселе. Казалось, что в аудиторию ворвался воздух митинговых 1920-х, о которых студенты знали только по книжкам и которые они, естественно, безоглядно идеализировали.

Доклад делал Пётр Палиевский. В свободной форме он изложил свои мысли, в чём-то существенном не согласующиеся не только с Марром, но и с его всемирно известным критиком. На Палиевского тут же набросился Юрий Суровцев, осуждая докладчика с ортодоксально-марксистских позиций (это “грозное оружие” было отточено им именно на студенческой скамье в конце 1940-х). Вадим слушал всё с самым живым интересом, а потом включился в обсуждение чисто “игровым” способом. Он решил поставить и докладчика, и аудиторию в тупик, и это искусство, позже не раз ему пригождавшееся, также было отработано ещё в те годы.

На обсуждении собрались как дипломники, так и студенты младших курсов. Лев Аннинский, Игорь Виноградов, Владимир Лакшин, Станислав Лесневский, Юрий Манн, Олег Михайлов, Станислав Рассадин, Владимир Турбин, Феликс Фридлянд (будущий Светов), Лазарь Шиндель (будущий Лазарев) стали свидетелями запоминающейся сцены. Аннинский через много лет вспоминал о том своём впечатлении:

“С докладами выступали четверокурсники, изо всех сил державшиеся солидно. Так и шло: мы орали, они вещали, аспиранты снисходительно созерцали этот карнавал интеллекта, преподаватели созерцали его с тревогой.

Вдруг объявили: “дипломник Кожинов”. Эта фамилия ничего не сказала мне, и секунд тридцать я слушал рассеянно, пока до меня не дошло то, что выкрикивал взлетевший на трибуну парень – несмотря на очки, совершенно ненаучного вида.

— У Сталина сказано, что надстройка — великая активная сила, — весело сообщил он (я поразился лёгкости, даже бесцеремонности, с какой оказалось употреблено сакральное имя вождя). — Палиевский здесь нам докладывает, что литература — не надстройка. Значит, Палиевский не считает литературу великой и активной силой?

Я осип. Это было что-то запредельное то ли из коварной средневековой схоластики, то ли из дерзостей андерсеновского ребёнка. О, я запомнил этого дипломника! На всю жизнь”.

Честно говоря, жалко, что нет под рукой стенограммы этого обсуждения (если она вообще была!). Память — штука прихотливая, слишком многое стремится высветить в нужном свете, вырвать из контекста событий, проставить нужные (на момент рассказа!) акценты... Пётр Палиевский вообще, вспоминая этот эпизод, утверждал, что Кожинов тогда солидаризировался с Суровцевым... Но интересно, однако (если всё звучало именно так!), что Вадим перевернул здесь мысль Палиевского совершенно другой стороной. И при этом ещё, наверняка, ехидно подмигнул: ну, как ты теперь выкрутишься? И победоносно посмотрел в аудиторию: кто возразит? И, главное, как?

Проще всего сказать здесь: ну и демагог! Но Кожинов с юности любил такие игровые моменты (Лесневский говорил ему: “Ты играешь в карты с таким видом, будто играешь в шахматы”. А ведь наверняка мог бы сказать: “Играешь в шахматы с таким видом, словно в карты”). Он и позднее, в уже вполне взрослой жизни, самые серьёзные послы облекал в такую форму, что любое всамделишное возмущение его умозаключениями невольно ставило в смешное и нелепое положение самого возмущавшегося... И, прямо скажем, доставалось Вадиму Валериановичу за это немало!

Тут, правда, следует уточнить: вся эта дискуссия проходила уже после смерти Сталина. Страна отплакала, но ещё не успокоилась. Не столько многие жалели об уходе вождя, сколько не на шутку тревожились: что будет дальше? Не пора ли готовиться к новой войне?... А тут ещё начало массовых реабилитаций, разоблачение Берии, неясные гадания о будущем...

А у Вадима были свои заботы. Совсем недавно родилась дочь Елена. Надо было думать о содержании семьи — и тут на горизонте возникла проблема распределения.

Кожинов блестяще сдал госэкзамены по основам марксизма-ленинизма, русскому языку и его истории, русской литературе. Не менее блестяще защитил диплом на тему “Лирика Некрасова и Маяковского”. Более того, уже в “Литературной газете” была опубликована его статья “Некрасов и Маяковский” с весьма основательными параллелями в творчестве того и другого с особенным акцентом на некрасовских “Современниках”: “...Сатирическая поэма Некрасова “Современники” явилась новаторским шагом в развитии языка русской поэзии. В поэму, с исключительной разносторонностью вобравшую разговорную речь различных слоёв петербургского населения, широко вошли политическая и деловая терминология, язык газеты, биржи, канцелярии... Во всей русской поэзии мало произведений, более близких поэзии Маяковского по своей стилистике, чем поэма “Современники”... Его (Некрасова. — **С. К.**) яркие сатирические образы обнажали звериный облик новых эксплуататоров. Он показал, что российские дельцы считают себя учениками американских бизнесменов: “Наш идеал, — говорят, — заатлантический брат: Бог его — тоже ведь доллар!...” (Отсылка к “российским дельцам” тем более значима, что в “Современниках” нет ни одного собственно русского “дельца”: “Денежки есть — нет беды. Денежек нет — есть опасности!” Так говорили жида. Слог я исправил для ясности” — так у Некрасова).

...В общем — никаких препятствий выпускнику с подобным “послужным списком” для поступления в аспирантуру, казалось, не существовало. Но тут всплыла история с Белкиным. Золуля по-своему пожелал “разделаться” со строптивым выпускником и выписал ему распределение учителем в полувоеенизированную железнодорожную школу далеко на Восток.

И тут вмешался профессор МГУ Леонид Тимофеев.

“Ув. тов. Почекутов!

Не смог с Вами договориться по телефону и посылаю — как договорились — письмо.

Дело моё состоит в следующем.

Филологический факультет в текущем году окончил студент Кожинов.

Кафедра сов(етской) лит(ературы) даёт ему прекрасную характеристику. Инст(итут) мировой литературы весьма заинтересован в том, чтобы включить его в свою аспирантуру и подал на него в МГУ заявку.

Однако, по словам декана фил. ф. проф. А. Соколова т. Кожинов уже направлен на пед(агогическую) работу на Алтай. Я и возбуждаю перед вами просьбу дать разрешение т. Кожинова направить в ИМЛИ.

Я прошу об этом и как проф. МГУ, хорошо знающий т. Кожинова, и как завсектором сов(етской) литературы ИМЛИ, которому очень нужны способные молодые кадры.

Если есть малейшая возможность, было бы очень хорошо, если бы т. Кожинов был к нам направлен.

Обращаюсь к Вам по совету проф. Метченко, зав. кафедрой сов. литературы МГУ.

Ув(ажаящий) Вас. Проф. Л. Тимофеев.
15.V.54”.

Для поступления в аспирантуру нужна была, в первую очередь, абсолютно благожелательная характеристика. И эту характеристику написал Игорь Виноградов, а её текст заверили своими подписями 26 мая декан филфака профессор Алексей Георгиевич Соколов и председатель профбюро Клавдия Васильевна Горшкова.

“ХАРАКТЕРИСТИКА

На окончившего в 1954 г. филологический факультет МГУ Кожинова В. В. г. р. 1930, русский, член ВЛКСМ.

Окончил отделение русского языка и литературы на отлично. Т. Кожинов проявил себя как серьёзный и вдумчивый студент, интересующийся наукой. Его курсовые работы всегда отличались большой самостоятельностью и носили исследовательский характер, затрагивающий ведущие проблемы советской литературы. Выступления Кожинова на семинарах по социально-экономическим проблемам показали глубокие и серьёзные знания.

За время пребывания в комсомольской организации факультета вёл следующую общественную работу: корреспондент газеты “Московский университет” (1948-1949 гг.), комсорг группы (1950 г.), ответственный за переписку при Вузкоме (1951 г.), работник факультетской газеты “Комсомолия” (1951-52), староста курса (IV-V кк.), а также вёл большую работу при НСО (староста советской секции), руководил кружком по советской литературе для 10-х классов, читал лекции по советской литературе в школах г. Москвы.

К своим обязанностям относился с полной ответственностью и горячим интересом”.

Все препятствия, в конце концов, были устранены. Кожинов стал аспирантом Института мировой литературы.

(Продолжение следует)